

С. П. Алексеева¹, П. В. Алексеев^{1,3✉}, С. С. Жданов^{1,2}

Рецепция межнациональных отношений в Сибири в травелоге М. Уйфальви-Бурдон «От Парижа до Самарканда» (1880)

¹ Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Российская Федерация

² Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
г. Новосибирск, Российская Федерация

³ Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидова, г. Самарканд, Узбекистан
e-mail: pavel.alekseev.gasu@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена имагологическому анализу репрезентации межнациональных отношений в сибирской части травелога французской путешественницы Марии де Уйфальви-Бурдон «От Парижа до Самарканда» (1880). На материале глав XIX–XX, описывающих путь от Семипалатинска до Оренбурга через башкирские земли, деконструируются ключевые нарративные стратегии автора. Выявлена иерархия этнических образов, колеблющаяся между романтизацией «детей природы» и колониальными стереотипами. Показано, что гендерная принадлежность автора порождает особую амбивалентность: сочувствие к «затворницам» гарема сочетается с цивилизаторским высокомерием. Прослежено, как городское пространство Сибири моделирует имперский порядок. Книга представлена как ценный источник по имагологии российского Востока, иллюстрирующий механику конструирования «своего» и «чужого» в сознании западной наблюдательницы эпохи заката империй.

Ключевые слова: Уйфальви-Бурдон, травелог, имагология, межнациональные отношения, Сибирь, Российская империя, «Другой», ориентализм, женский взгляд, этнические стереотипы

S. P. Alekseeva¹, P. V. Alekseev^{1,3✉}, S. S. Zhdanov^{1,2}

Reception of interethnic relations in Siberia in M. Ujfalvi-Bourdon's travelogue "From Paris to Samarkand" (1880)

¹ Gorno-Altai State University, Gorno-Altai, Russian Federation

² Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation

³ Samarkand State University named after Sh. Rashidov, Samarkand, Uzbekistan
e-mail: pavel.alekseev.gasu@gmail.com

Abstract. The article presents an imagological analysis of the representation of interethnic relations in the Siberian part of the travelogue of the French traveller Marie de Ujfalvy-Bourdon, "From Paris to Samarkand" (1880). Drawing on the chapters describing the route from Semipalatinsk to Orenburg through Bashkir lands, the study deconstructs the key narrative strategies of the author. It reveals a hierarchy of ethnic images that oscillates between the romanticisation of "children of nature" and colonial stereotypes. The author's gender is shown to generate a particular ambivalence: sympathy for the "recluses" of the harem is combined with a civilising arrogance. The article traces how the urban space of Siberia models the imperial order. The book is presented as a valuable source on the imagology of the Russian East, illustrating the mechanisms of constructing "the self" and "the other" in the consciousness of a Western female observer during the twilight of empires.

Keywords: Ujfalvy-Bourdon, travelogue, imagology, interethnic relations, Siberia, Russian Empire, the Other, Orientalism, female gaze, ethnic stereotypes

Введение

Формирование образа Сибири в европейском сознании второй половины XIX века происходило на пересечении нескольких дискурсивных потоков: имперской экспансии России, научного освоения пространства (антропология, география, статистика), развития железнодорожного транспорта и становления массовой печатной культуры, породившей устойчивый спрос на путевые очерки и этнографические зарисовки. Многонациональное население Сибири – русские переселенцы, казахи (в терминологии эпохи – «киргизы»), башкиры, татары, остяки и другие народы – представало перед западным наблюдателем сложной мозаикой, требовавшей классификации, оценки и повествовательного упорядочивания. В обширном корпусе англоязычных и франкоязычных травелогов этого периода, все более востребованном в последние десятилетия как материал междисциплинарных исследований, сложился ряд устойчивых нарративных стратегий: от инвентаризационного взгляда, сводящего этническое разнообразие к перечню «типов», до амбивалентного дискурса, колеблющегося между романтизацией «благородного дикаря» и колониальными обвинениями в «лени» и «нечистоплотности». Однако женские травелогисты, создававшиеся в тех же хронологических и географических рамках, до сих пор остаются на периферии исследовательского внимания, а их вклад в конструирование образа сибирского фронта практически не осмыслен.

Книга Марии де Уйфальви-Бурдон (Marie de Ujfalvy-Bourdon, 1842–1904) «От Парижа до Самарканда: Фергана, Кульджа и Западная Сибирь. Путевые впечатления парижанки» (1880) занимает в этом ряду особое место. Успех этого издания побудил ее продолжить литературную работу, и в 1887 г. она опубликовала второй травелог – «*Voyage d'une Parisienne dans l'Himalaya occidental*», основанный на материалах экспедиции 1881 г.; как отмечают современные исследователи, этот текст демонстрирует заметную эволюцию стиля: проходя обучение антропологии, Уйфальви-Бурдон стала увереннее использовать научный жаргон и выстраивать более сложную нарративную структуру в «гибридной тональности» между «научным и живописным» [1, с. 280]. В отличие от большинства женщин-путешественниц, сопровождавших мужей-ученых, Уйфальви-Бурдон не просто дублировала научный отчет супруга, французского антрополога венгерского происхождения Шарля Эжена де Уйфальви, но создала самостоятельное произведение в жанре травелога, сочетающее научную наблюдательность с живым эмоциональным откликом и имперским взглядом на мир [2]. Ее взгляд на народы Сибири – как на русских колонистов, так и на «инородцев» (в первую очередь башкир и киргизов-казахов) – представляет собой сложную конфигурацию, в которой можно обнаружить как типичные для эпохи ориенталистские клише, так и черты, обусловленные гендерной принадлежностью автора и ее специфическим положением в научной экспедиции [2; 3]. Между тем, до сих пор этот травелог ни разу не становился объектом систематического имагологического анализа, сфокусированного именно на сибирской части маршрута и на репрезентации межнациональных отношений.

Научная проблема статьи заключается в выявлении того, каким образом репрезентации народов Сибири, сконструированные в нарративе светской францу-

женки - участницы научной экспедиции, соотносятся с доминировавшими в западной литературе рубежа XIX–XX веков стратегиями экзотизации и иерархизации культур, и в какой мере гендерная принадлежность автора модифицирует стандартный имперский нарратив. Предшествующие работы, затрагивающие травелог Уйфальви-Бурдон, либо ограничиваются общим обзором франкоязычных путешествий в Центральную Азию [4], либо рассматривают его в контексте гендерной специфики женского письма о Востоке, аспектов визуальности и культуры памяти [5; 6; 1; 3]. Ни одно из этих исследований не ставило своей задачей детальную деконструкцию репрезентации межнациональных отношений в сибирских главах книги.

Избранная методология опирается на принципы имагологического анализа в его современном междисциплинарном изводе [7–9], дополненного инструментарием постколониальной критики [10; 11] и гендерных исследований травелога и «восточного текста» [12; 13]. Особое внимание уделяется концепции «культурного пограничья» и идее амбивалентности колониального дискурса, в котором субъект одновременно восхищается и отчуждается от описываемого им «Другого». В качестве материала для анализа выступают главы XIX и XX травелога, описывающие путь от Семипалатинска до Оренбурга через башкирские земли (а также, для контекстуализации, предшествующие главы, посвященные европейской России и началу азиатского маршрута). Сквозное чтение источника сопровождается выделением ключевых нарративных оппозиций («чистота / грязь», «трудолюбие / лень», «гостеприимство / дикость», «свобода / затворничество»), а также анализом портретных зарисовок и сцен межкультурной коммуникации.

Новизна работы определяется тем, что впервые в отечественной имагологии предпринимается систематическая деконструкция образов народов Сибири в женском франкоязычном травелоге последней трети XIX века, до сих пор не попадавшем в фокус исследователей межнациональных отношений. Сопоставление с уже описанными в литературе стратегиями репрезентации у мужчин-авторов (А. Мичи, Г. Ланселл, Г. Свейн, Л. Зетланд и др.) позволяет увидеть как инвариантные черты жанра, так и индивидуальные особенности, обусловленные гендерной и национальной принадлежностью автора. Статья, таким образом, предлагает новый ракурс в изучении того, как западный наблюдатель эпохи «заката империй» конструировал образ российского Востока и какое место в этом процессе занимали женщины, чьи голоса до сих пор звучали с периферии научного дискурса.

Методы и материалы

Источниковой базой исследования послужило первое издание травелога Марии де Уйфальви-Бурдон «De Paris à Samarkand: le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie occidentale. Impressions de voyage d'une Parisienne» (Paris, Hachette, 1880) [14]. Основное внимание уделено главам XIX и XX, охватывающим сибирский отрезок маршрута от Семипалатинска до Оренбурга через земли башкир. Выбор именно этих глав продиктован спецификой поставленной задачи: в то время как центральноазиатская часть путешествия неоднократно привлекала внимание исследователей [4–6], сибирские страницы травелога оставались на периферии историографического интереса. Между тем, именно здесь автор предлагает наиболее разверну-

тую картину межнациональных контактов - от административных центров (Семи-палатинск, Омск, Петропавловск) до башкирских деревень и кочевий киргизов (казахов). Для контекстуализации привлекаются также главы I–V, описывающие путь от Парижа до Оренбурга и позволяющие проследить эволюцию восприятия автором имперской периферии по мере продвижения вглубь России.

Характер источника обусловил выбор методологического инструментария. Работа выполнена в рамках имагологического подхода, ориентированного на деконструкцию образа «Другого» в структуре путевого нарратива [7–9]. Имагологическая оптика, трактующая травелог как форму культурного трансфера, в котором неизбежно происходит редукция наблюдаемой реальности к системе этнических стереотипов и оценочных суждений, дополняется инструментарием постколониальной критики [10; 11; 15; 16]. Это позволяет выявить механизмы экзотизации и иерархизации культур, характерные для европейского дискурса о «Востоке» - независимо от того, идет ли речь о классическом колониальном ориентализме или о его российском изводе [17–19]. Особое значение для анализа имеет концепция амбивалентности колониального дискурса [20], описывающая колебание между восхищением «природной чистотой» и обвинениями в «варварстве» - колебание, которое в полной мере обнаруживается в тексте Уйфальви-Бурдон.

Учитывая гендерную принадлежность автора, исследование опирается также на корпус работ, посвященных женскому травелогу XIX века [12; 21; 22]. Гендерная оптика позволяет рассмотреть, каким образом положение женщины-путешественницы - одновременно включенной в имперскую иерархию и подчиненной внутри нее - влияет на стратегии описания и оценки наблюдаемых народов. Вслед за С. Миллс, мы исходим из того, что женский травелог не является простым отражением мужского дискурса, но представляет собой результат сложной «дискурсивной работы» (discursive work), в ходе которой автор вынужден постоянно лавировать между имперскими ожиданиями, жанровыми конвенциями и собственным опытом уязвимости. В случае Уйфальви-Бурдон этот конфликт усугубляется двойной ролью: с одной стороны, она - супруга ученого-антрополога, участвующая в научной миссии и воспроизводящая в своем тексте расиологические классификации; с другой - светская парижанка, чуткая к бытовым деталям, эмоциональным состояниям и положению женщин, с которыми она вступает в невербальную коммуникацию.

Методика анализа включает сквозное чтение целевых глав с последующим выделением ключевых нарративных стратегий репрезентации этнических групп. С опорой на методику, апробированную в исследованиях англоязычных травелогов о Сибири [24–29], в тексте были выявлены устойчивые бинарные оппозиции, организующие авторское восприятие: «чистота / грязь», «трудолюбие / лень», «гостеприимство / дикость», «свобода / затворничество», «цивилизация / архаика», «оседлое / кочевое», «христианское / мусульманское / языческое». Как показано в указанных работах, подобные оппозиции образуют каркас иерархического восприятия сибирского полиэтнического пространства, в котором степень «цивилизованности» приписывается этническим группам в зависимости от их близости к русским. Проведен контент-анализ оценочной лексики и сцен меж-

культурной коммуникации. Особое внимание уделялось итинерарию упоминаний этнонимов, позволяющему реконструировать «ментальную карту» межнациональных отношений.

Новизна подхода заключается в том, что анализ сибирской части травелога Уйфальви-Бурдон впервые производится в сопоставлении с уже изученными стратегиями репрезентации народов Сибири у мужчин-авторов (А. Мичи, Г. Ланселл, Г. Свейн, Л. Зетланд, Л. Бейтс). Ранее было показано, что мужские травелоги выстраивают жесткую иерархию этнических групп, основанную на степени их «русификации» и близости к «цивилизации» [25], а также воспроизводят ориенталистские стереотипы о «диком Востоке» [28]. На этом фоне травелог Уйфальви-Бурдон обнаруживает специфику, связанную с гендерной и национальной принадлежностью автора: эмпатия к женщинам и внимание к бытовым деталям не отменяют имперской рамки, но модифицируют ее, создавая «женскую» амбивалентность, не отмеченную ранее. Учет визуального ряда травелога (гравюры, восходящие к Туркестанскому альбому), роль которого в циркуляции колониальных стереотипов установлена С. Горшениной, также предпринимается впервые применительно к сибирским главам книги. Исследование, таким образом, носит междисциплинарный характер и вносит вклад в изучение механизмов конструирования образа «Другого» в западноевропейской литературе эпохи «заката империй».

Результаты и обсуждение

1. Сибирь как пространство «цивилизаторской миссии». Восприятие Сибири Марией де Уйфальви-Бурдон неотделимо от ее общей оценки российской колонизации как прогрессивного, цивилизующего процесса. Уже в первых абзацах, посвященных Семипалатинску, она формулирует этот тезис с предельной ясностью, характеризуя переход кочевников к оседлости как избавление от нищеты и прямое доказательство эффективности имперского управления: «Les Kirghises commencent à se civiliser; on essaye de les coloniser, car la misère les envahissait. L'hiver était une époque très dure pour ces nomades, qui ne savent alors comment nourrir leurs bestiaux... Le gouvernement russe fonde des colonies près d'Akmolinsk. <...> La ville qu'ils habitent sur l'autre rive de l'Irtich prouve que le gouvernement ne s'est pas trompé»⁷ [14, с. 435]

В этой логике административное вмешательство в жизнь кочевых народов оправдывается практической заботой о их выживании, а возникающие стационар-

⁷ Все цитаты из травелога М. де Уйфальви-Бурдон приводятся в тексте статьи на французском языке по первому изданию 1880 г. Русский перевод выполнен авторами настоящей статьи и дается в постраничных примечаниях. Опубликованный русский перевод травелога на момент подготовки статьи отсутствует. Орфография и пунктуация оригинала сохранены: «Киргизы начинают цивилизовываться; их пытаются колонизировать, так как нищета их захватывала. Зима была суровым временем для этих кочевников, которые не знают тогда, как прокормить свой скот... Российское правительство основывает колонии близ Акмолинска. <...> Город, который они населяют на другом берегу Иртыша, доказывает, что правительство не ошиблось».

ные поселения выступают визуальным подтверждением разумности имперской политики. Автор не рефлексировал о возможном насильственном характере перехода к оседлости, воспринимая его исключительно с утилитарной и цивилизаторской точки зрения.

Пространство самого Семипалатинска репрезентируется как наглядная модель имперского порядка, в котором русская и азиатская части сосуществуют, оставаясь при этом разделенными. Упоминание «города на другом берегу Иртыша» маркирует символическую границу между двумя мирами, причем легитимность и прогрессивность связывается автором именно с русской стороной. Показательно, что описание киргизской части города лишено какой-либо эстетической привлекательности: она предстает скорее как пространство нужды и необустроенности, нуждающееся в дисциплинирующем воздействии.

Еще отчетливей цивилизаторский пафос выражен в оценке деятельности русских переселенцев и казаков, изображенных как носители порядка и деятельной энергии. В главе XX Уйфальви-Бурдон с восхищением пишет о казачьих станицах и деревнях староверов, подчеркивая их трезвый образ жизни: «Les villages paraissent aisés, quoique les embellissements y manquent; les femmes et les enfants se promènent malgré le froid (8° au-dessous de zéro), les unes en chemise et en jupon, les autres nues, couvertes d'une simple petite robe d'indienne. <...> pas un ivrogne n'y célèbre le jour du Seigneur, chose bien rare dans la Russie d'Europe»⁸ [14, с. 438].

Характерно, что автор отмечает не только материальный достаток, но и моральную дисциплину колонистов, контрастирующую с нравами метрополии. В этом сравнении Сибирь оказывается не просто колонизуемой периферией, но и пространством, где имперские добродетели проявляются с особой чистотой.

Вместе с тем, Уйфальви-Бурдон не закрывает глаза на издержки колонизации. В той же главе она с горечью описывает истребление сибирских лесов, однако и здесь возлагает ответственность не на имперскую политику как таковую, а на человеческую небрежность и отсутствие эстетического чувства у местного населения: «On conçoit aisément le déboisement des forêts quand on pense à tout le combustible que réclament ce climat glacial et la construction des maisons, des tables, des chaises, des meubles, etc. Toujours prendre sans jamais rendre, en faut-il davantage pour amener l'épuisement?»⁹ [14, с. 438]

Подобная риторика, с одной стороны, смягчает критику имперской администрации, переводя проблему в плоскость индивидуальной ответственности, а с другой - укрепляет общее представление о Сибири как о пространстве, которое еще предстоит «окультурить» в полной мере.

⁸«Деревни кажутся зажиточными, хотя украшения в них отсутствуют; женщины и дети прогуливаются, несмотря на холод (8° ниже нуля), одни в рубашке и юбке, другие босиком, укрытые простым ситцевым платицем. <...> ни один пьяница не празднует здесь день Господень, вещь весьма редкая в Европейской России».

⁹«Легко понять истребление лесов, если подумать обо всем топливе, которого требует этот ледяной климат и строительство домов, столов, стульев, мебели и т.д. Вечно брать, никогда не возвращая, - нужно ли больше, чтобы привести к истощению?».

Таким образом, в нарративе Уйфальви-Бурдон Сибирь конструируется как динамичный фронт, где цивилизаторская миссия России приносит зримые плоды, выражающиеся в оседании кочевников, росте стационарных поселений и распространении трудолюбия и трезвости среди колонистов. Вместе с тем, автор последовательно дистанцируется от какой-либо критики имперского порядка как такового, предпочитая видеть недостатки результатом частных человеческих слабостей, а не системных проблем колониального управления.

2. Иерархия этнических образов. Взгляд Уйфальви-Бурдон на народы Сибири не является однородным: ее симпатии и антипатии распределены неравномерно, образуя своего рода негласную шкалу, верхние ступени которой занимают этнические группы, в наибольшей степени приближающиеся к европейским представлениям о чистоте, трудолюбии и внешней привлекательности. Нижние же ступени отводятся тем, кто, по мнению автора, этими качествами не обладает и потому нуждается в цивилизующем воздействии извне.

На вершине этой иерархии располагаются башкиры. Им посвящены самые подробные и эмоционально теплые страницы сибирской части травелога. Автор неоднократно подчеркивает их опрятность, особенно в сравнении с другими кочевыми народами: «*Les Bachkirs <...> sont plus propres que les Kirghises et ne vivent pas dans la même intimité avec leurs bêtes*»¹⁰ [14, с. 458]. В этой лаконичной фразе закодирована целая система оценок: совместное проживание людей и животных выступает в западном сознании XIX века одним из ключевых маркеров «нецивилизованности». Башкиры, напротив, этим маркером не отмечены, что сразу помещает их на более высокую ступень. Их внешность также удостоена комплиментов: «*les femmes n'ont rien de laid*» [14, с. 454] - «женщины нисколько не уродливы».

Особенно показателен эпизод, в котором Уйфальви-Бурдон, застигнутая поломкой экипажа в башкирской деревне, описывает появившуюся на пороге женщину: «*Quelle admirable créature, avec ses beaux yeux noirs voilés, sa peau d'Andalouse et sa taille majestueuse; une reine au milieu de son palais n'aurait pas eu une altitude plus noble que cette femme sur le seuil de sa porte au milieu de cette luxuriante végétation*»¹¹ [14, с. 464]. Сравнение с андалузкой – жительницей южной Испании - и с королевой, помещающее башкирку в привычный европейский эстетический канон, в сочетании с мотивом «роскошной растительности» (редкая похвала окружающему пейзажу), придает сцене почти идиллический оттенок. Важно и другое: в отличие от зачастую анонимных и пассивных «туземцев», эта женщина наделяется индивидуальностью и достоинством, что для травелогов эпохи является скорее исключением, чем правилом.

Наконец, башкиры вписаны автором в европейский исторический контекст.

¹⁰ «Башкиры <...> опрятнее киргизов и не живут в такой близости со своим скотом».

¹¹ «Какое восхитительное создание, с ее прекрасными подернутыми поволокой черными глазами, кожей андалузки и величественной талией; королева посреди своего дворца не имела бы более благородной осанки, чем эта женщина на пороге своей двери посреди этой роскошной растительности».

Уйфальви-Бурдон называет их «*les cousins germains des Magyars*» [14, с. 460] – «дворянскими братьями мадьяр», тем самым причисляя их к кругу народов, связанных с Европой генетическим и культурным родством. Этот аргумент, вполне характерный для венгерской научной традиции, которую разделял супруг автора Шарль-Эжен де Уйфальви, в тексте травелога выполняет дополнительную функцию: он легитимирует высокий статус башкир в глазах французского читателя.

Совершенно иначе изображены киргизы (казахи). Если башкиры удостаиваются индивидуализированных портретов и эмоциональной вовлеченности автора, то киргизы предстают скорее как безликая масса, объект приложения цивилизаторских усилий. Их кочевой быт трактуется не как адаптивная стратегия, выработанная веками, а как следствие лени и пассивности. В главе XX, сравнивая башкир с киргизами, Уйфальви-Бурдон прямо указывает на это различие: «*leur paresse, qui contraste avec l'activité des Kirghises*» («их лень, которая контрастирует с деятельностью киргизок») [14, с. 458]. Примечательно, что единственная похвала достается киргизским женщинам, которые «выполняют всю работу, в то время как мужчины праздны». Подобное распределение гендерных ролей, полностью противоположное буржуазному идеалу патриархальной семьи, еще более укрепляет автора в мысли о «неправильности» и «отсталости» киргизского уклада.

Русские переселенцы и казаки, напротив, последовательно изображаются как носители порядка и деятельной энергии. Уйфальви-Бурдон с восхищением пишет о мастерстве русских ямщиков, чье лихое управление лошадьми вызывает у нее почти детский восторг: «*Honneur aux cochers russes!*» («Слава русским кучерам!») [14, с. 438]. Это восклицание, редкое по эмоциональной насыщенности для сдержанного в целом стиля автора, маркирует высшую точку ее симпатии к русским как агентам имперского порядка. Деревни староверов, с их трезвостью и чистотой, также удостаиваются похвалы. Однако автор не идеализирует русских колонистов: в той же главе XX, как уже было отмечено, она критикует их за хищническое истребление лесов и неспособность оценить красоту пейзажа. Эта амбивалентность, впрочем, не подрывает общего вектора: русские остаются для Уйфальви-Бурдон главными проводниками цивилизации в Сибири.

Низшую ступень в авторской иерархии занимают малочисленные народы Севера – остяки (ханты) и самоеды (ненцы). Они практически полностью лишены индивидуальных черт и предстают исключительно как объекты этнографического любопытства, часть «коллекции» дикушинок, которыми может похвастаться Сибирь. В главе XIX, описывая пребывание в Омске, автор сообщает: «*Le gouverneur général donna à mon mari des échantillons de toile en fils d'ortie filée par les Ostiaks<...> Il nous fit cadeau aussi de sacs faits en pattes de cygnes, puis d'un petit animal très curieux de l'espèce des gerboises*»¹² [14, с. 445].

Остяки, их ремесленные изделия и «весьма любопытный зверек» помещены в

¹²«Генерал-губернатор подарил моему мужу образцы ткани из крапивных нитей, спряденных остяками<...> Он также преподнес нам в подарок сумки из лебяжьих лапок, а затем – весьма любопытного зверька из породы тушканчиков».

один смысловой ряд, образуя характерный для колониального дискурса перечень «курьезов», лишенный какой-либо иерархии значимости между артефактами человеческой деятельности и объектами фауны. Еще более лаконично упоминание самоедов, которых Уйфальви-Бурдон видит в Троицке: «*deux jeunes Samoyèdes*» [14, с. 448] - и не добавляет к этому ни единого оценочного или описательного суждения. Подобная дегуманизация, низводящая целые народы до статуса безмолвных экспонатов, является классическим проявлением того, что называется «ориентализацией» Другого.

Таким образом, иерархия этнических образов, выстраиваемая в травелоге Уйфальви-Бурдон, отражает не столько объективные наблюдения, сколько глубоко укорененные в западном сознании эпохи представления о том, какие качества приближают тот или иной народ к «цивилизации», а какие, напротив, отбрасывают его в «варварство». Чистота, трудолюбие, внешняя привлекательность европейского типа и наличие исторической связи с Европой – вот те критерии, которые определяют место этнической группы на авторской шкале симпатий.

3. Женская оптика и гендерное измерение межнациональных контактов.

Гендерная принадлежность Марии де Уйфальви-Бурдон не была для нее всего лишь биографическим обстоятельством; она напрямую определяла как доступные ей зоны наблюдения, так и саму тональность описания. В отличие от своего мужа, чей доступ ограничивался преимущественно мужской, публичной сферой, Уйфальви-Бурдон могла проникать в пространства женской сегрегации - гаремы, кибитки, внутренние покои, - и именно там она формировала значительную часть своих суждений о межнациональных отношениях. Вместе с тем ее собственное положение женщины, путешествующей в составе научной экспедиции, порождало в тексте особую двойственность: с одной стороны, она выступает как представительница доминирующей европейской культуры, с другой - сама оказывается уязвимой и зависимой в пространстве, маркированном одновременно как мужское и как колониальное. Эта двойственность, как показано в исследованиях женского травелога XIX в. [12; 21–23; 2], является структурной чертой женского письма о «Востоке», а в случае Уйфальви-Бурдон она усугубляется ее ролью супруги ученого-антрополога, вынужденной лавировать между научным дискурсом мужа и «разрешенным» женщине языком путевых впечатлений. С. Сюдрес [1; 3] определяет эту особенность как «гибридность тона», позволяющую автору одновременно воспроизводить расиологические классификации и сохранять за собой право на эмоциональное, «живописное» описание.

Наиболее ярко эта двойственность проявляется в суждениях Уйфальви-Бурдон о положении мусульманских женщин. Посещая гаремы в Оренбурге, Туркестане и Самарканде, она систематически сравнивает увиденное с положением женщин в Европе. Ее вердикт почти всегда однозначен и выдержан в духе цивилизаторского превосходства. Так, побывав в гареме Муссе-Али в Туркестане, она заключает: «*En vérité, Messieurs de l'Occident, murmurai-je en me retirant, vous n'êtes pas trop à plaindre; vos femmes sont bien préférables; si parfois la beauté leur manque, elles ont la grâce et l'esprit; je comprends maintenant que le harem soit cloîtré; sans cette*

claustration, il perdrait tout son prestige»¹³ [14, с. 126].

Этот пассаж примечателен своей многослойной иронией. Формально адресуясь к «господам с Запада», Уйфальви-Бурдон на самом деле обращается к своим читательницам, приглашая их разделить чувство превосходства над «затворницами». Одновременно она подрывает романтизированный образ гарема, созданный мужской ориенталистской литературой, низводя его до статуса «лишенного престижа» пространства, в котором женщины утрачивают индивидуальность. Исследователи характеризуют эти пассажи как «анти-образ» гарема [3]: в отличие от мужской ориенталистской традиции, эротизирующей фигуру одалиски, Уйфальви-Бурдон намеренно деэротизирует пространство женской сегрегации, акцентируя его «неприглядность» и превращая в «место заточения и не-существования женщин». Показательно, что ее критика направлена не только на «отсталые» обычаи, но и – имплицитно – на мужское любопытство, породившее эти обычаи в качестве объекта фантазий.

Однако, в отличие от мусульманок Средней Азии, башкирские женщины вызывают у нее совсем иную реакцию. Наблюдая за ними в ходе путешествия по Южному Уралу, она с одобрением отмечает их свободу и активное участие в хозяйственной жизни: «Les femmes ont le visage découvert et vaquent comme les Kirghises aux occupations du ménage»¹⁴ [14, с. 451].

Это наблюдение – «открытое лицо» – является для Уйфальви-Бурдон ключевым маркером «нормальности» и свободы. В ее системе координат затворничество и чадра символизируют угнетение, тогда как открытость женского лица и участие в труде – пусть и тяжелом – свидетельствуют о более здоровом общественном укладе. Этот взгляд полностью согласуется с ее общей высокой оценкой башкир и подкрепляется эпизодом, в котором башкирская женщина предстает перед ней как воплощение природного благородства и красоты.

Уйфальви-Бурдон идет и дальше, встраивая свои наблюдения над положением женщин в более широкую философскую рамку. В главе III, размышляя об увиденном в гареме оренбургского муллы, она формулирует мысль, которая может быть прочитана как своего рода феминистский манифест европейской путешественницы: «La condition de la femme en Orient est vraiment lamentable: condamnée par la polygamie à n'être qu'un instrument des plaisirs de l'homme, elle n'est pas toujours en sûreté de la cruauté de ces peuples; comment donc en pourrait-il être autrement? L'enfant qui dès sa naissance voit la faiblesse personnifiée dans la femme, comme la force est personnifiée dans l'homme, l'enfant qui la trouve avilie, méprisée, livrée en proie au plus fort, s'habitue naturellement à la traiter comme un être inférieur; cette brutale éducation,

¹³ «Воистину, господа с Запада, - прошептала я, удаляясь, - вы не слишком достойны жалости; ваши жены гораздо предпочтительнее; если порой красоты им недостает, у них есть грация и ум; теперь я понимаю, почему гарем держат взаперти; без этого заточения он потерял бы весь свой престиж».

¹⁴ «Женщины ходят с открытым лицом и занимаются, как киргизки, домашними делами».

développant les penchants naturels de l'homme, augmente sa férocité et sa brutalité. <...> Chez les peuples, au contraire, où la femme tient son rang, l'enfant dès l'âge le plus tendre s'habitue à voir sa mère honorée et protégée; la mère, tout en développant la virilité de son fils, lui persuadera que plus il est fort, plus il doit être généreux envers le faible; c'est ainsi que peu à peu elle adoucit la nature turbulente et cruelle de l'enfant, car, il n'en faut pas douter, c'est à l'influence de la femme que la civilisation doit son existence. La civilisation est faite de compassion, de tendresse et de délicatesse, on y voit prévaloir l'élégance et la grâce sur la vanité de la force qui réduit l'homme au rang des fauves»¹⁵ [14, с. 56-57].

Этот пространственный пассаж выполняет в нарративе двойную функцию. С одной стороны, он представляет собой классический образец цивилизационного дискурса, в котором «Восток» (в данном случае мусульманский мир) служит антиподом «Запада», а положение женщины выступает универсальным критерием уровня развития того или иного общества. С другой стороны, в этих рассуждениях слышна не только имперская, но и отчетливо женская интонация: Уйфальви-Бурдон говорит о том, о чем ее муж-антрополог вряд ли стал бы писать с такой страстностью. Она превращает «женский вопрос» из частного наблюдения в ключевой аргумент в пользу превосходства европейской цивилизации.

Наконец, гендерная принадлежность автора проявляется и в тех моментах, когда она сама оказывается в уязвимом положении. В главе XV, оставшись одна на ночевке в Wadil (Фергана), пока ее муж отправился в Маргилан, она описывает свой страх с большой откровенностью: «<...>le soir, lorsque je me vis seule sous ma kibitka et privée de tout secours, le souvenir de la tombe du starosta égorgé me revint à la mémoire, et je me demandai comment je ferais pour clore ma demeure. Il n'y fallait pas penser. Que faire ? Si je pouvais au moins être avertie par un bruit quelconque. On dit que nécessité rend inventif: à force de chercher, je trouvais. Une chaise mise devant la portière de ma tente, qu'au préalable j'avais attachée avec des cordons, me servit d'appareil avertisseur; devant cette chaise je mis mon panier de provisions, sur lequel mes cuillers, mes fourchettes, mes couteaux, disposés en équilibre instable, devaient tomber au premier mouvement; de cette façon, pensai-je,

¹⁵ «Положение женщины на Востоке поистине плачевно: приговоренная полигамией к тому, чтобы быть лишь орудием удовольствий мужчины, она не всегда защищена от жестокости этих народов; да и может ли быть иначе? Ребенок, который с рождения видит слабость, олицетворяемую в женщине, так же как сила олицетворяется в мужчине, - ребенок, находящий ее униженной, презираемой, отданной в добычу сильнейшему, естественно привыкает обращаться с ней как с низшим существом; это грубое воспитание, развивая природные склонности мужчины, увеличивает его жестокость и зверство. <...> Напротив, у народов, где женщина занимает свое место, ребенок с самого нежного возраста привыкает видеть свою мать уважаемой и защищенной; мать, развивая мужественность своего сына, убедит его, что чем он сильнее, тем более должен быть великодушен к слабому; именно так мало-помалу она смягчает буйную и жестокую природу ребенка, ибо - не приходится сомневаться - именно влиянию женщины цивилизация обязана своим существованием. Цивилизация состоит из сострадания, нежности и деликатности, в ней изящество и грация преобладают над тщеславием силы, которая низводит человека до уровня диких зверей».

si on pousse la chaise, le bruit m'avertira»¹⁶ [14, с. 318].

Эта сцена, почти комическая в своей бытовой изобретательности, выявляет оборотную сторону колониального присутствия: европейская женщина, столь уверенная в своем цивилизационном превосходстве днем, ночью оказывается беззащитной и вынуждена полагаться на импровизированные средства защиты. Подобные эпизоды, рассыпанные по всему тексту, создают в нарративе зазор между декларируемым имперским превосходством и реальным опытом уязвимости, - зазор, который, как показала С. Миллс [12, с. 21–23], является характерной чертой именно женского травелога.

Таким образом, гендерная принадлежность Уйфальви-Бурдон не просто добавляет «женскую тему» в ее путевые заметки; она формирует особую оптику, сквозь которую автор смотрит на межнациональные отношения. Эта оптика позволяет ей одновременно воспроизводить имперские иерархии (противопоставляя «свободную» европейскую женщину «затворнице» гарема) и создавать пространство для эмпатии, недоступное ее коллегам-мужчинам. Аналогичная двойственность женского взгляда - колебание между ориентализацией и сочувствием, между имперским высокомерием и личной уязвимостью - зафиксирована и в травелогах других европейских путешественниц по Сибири этого же периода, в частности, в книге А. Микин «A Ribbon of Iron» (1901), где образ казашек конструируется на пересечении ориенталистских клише и эмпатической наблюдательности [29, с. 58]. Это типологическое сходство свидетельствует о том, что выявленная в тексте Уйфальви-Бурдон амбивалентность является не индивидуальной особенностью, а структурной характеристикой женского травелога эпохи «заката империй». Возникающая в результате амбивалентность - между сочувствием и превосходством, между страхом и самоуверенностью - станет предметом рассмотрения в следующем разделе.

4. Амбивалентность колониального дискурса: между восхищением и отчуждением. Анализ предшествующих разделов показал, что рецепция межнациональных отношений в травелоге Уйфальви-Бурдон не укладывается в однозначную схему: автор одновременно восхищается «природной чистотой» некоторых народов и обвиняет их в «лени» и «нечистоплотности», воспроизводя характерную для колониального дискурса амбивалентность [20]. Эта амбивалентность, как будет показано ниже, не является простой суммой противоречивых суждений; она составляет саму ткань нарратива, в котором позитивные и негативные оценки регулярно сме-

¹⁶«<...>Вечером, когда я оказалась одна под своей кибиткой и лишенная всякой помощи, воспоминание о могиле зарезанного станционного зрителя вернулось мне на память, и я спрашивала себя, как бы мне запереть свое жилище. Об этом нечего было и думать. Что делать? Если бы я могла по крайней мере быть предупреждена каким-либо шумом. Говорят, нужда изобретательна: в поисках я нашла выход. Стул, поставленный перед пологом моей палатки, который я предварительно привязала шнурами, послужил мне сигнальным устройством; перед этим стулом я поместила свою корзину с провизией, на которую мои ложки, вилки, ножи, расставленные в неустойчивом равновесии, должны были упасть при первом же движении; таким образом, — подумала я, — если кто-то толкнет стул, шум предупредит меня».

няют друг друга, не разрешаясь в устойчивый синтез.

Положительный полюс: романтизация «детей природы». Наиболее отчетливо восхищение автора проявляется в сценах, связанных с гостеприимством и естественной грацией коренных народов. В главе V, описывая прием в киргизской кибитке, Уйфальви-Бурдон отмечает: «l'hospitalité toute kirghise nous enchantait; elle était faite avec tant de bonne grâce, malgré le calme et la froideur inséparables du caractère musulman»¹⁷ [14, с. 92]. Характерно, что похвала дается с оговоркой: гостеприимство - это добродетель, но его проявление ограничено «мусульманским характером», который автор воспринимает как сдержанный и лишенный эмоциональной теплоты. Тем не менее, само признание достоинств «другой» культуры здесь налицо.

К позитивному полюсу можно отнести и неоднократные упоминания о музыкальной одаренности башкир. В главе XX Уйфальви-Бурдон описывает вечернюю игру на флейте и tambourin, признавая, что «странная и меланхолическая музыка» убаюкивала ее, несмотря на жесткость импровизированного ложа. Эта деталь, не имеющая прямого отношения к «цивилизаторской миссии», свидетельствует о подлинном интересе автора к эстетическому миру народа, который она описывает.

Однако параллельно с восхищением Уйфальви-Бурдон регулярно воспроизводит стереотипы, характерные для европейского колониального дискурса XIX века. Наиболее устойчивым из них является обвинение в нечистоплотности. В главе V, повествуя об антропометрических измерениях, она замечает: «Le fait est que l'objet de l'expérimentation est d'une malpropreté dégoûtante. Voyez un peu jusqu'où peut conduire l'amour de la science !»¹⁸ [14, с. 78].

Эта фраза, брошенная как бы между прочим, выполняет важную нарративную функцию: она дистанцирует автора - и вместе с ней европейского читателя - от «грязного» тела туземца, одновременно легитимируя научную процедуру, которая в иной ситуации могла бы быть воспринята как унижительная. «Любовь к науке» оправдывает контакт с «нечистым» объектом. Лень также фигурирует в качестве устойчивого маркера «отсталости». Как уже отмечалось ранее, Уйфальви-Бурдон противопоставляет «лень» киргизских мужчин «деятельности» киргизских женщин, подразумевая, что такое распределение труда противоречит «нормальному» (т.е. европейскому) порядку вещей.

Наконец, автор невысокого мнения об интеллектуальных способностях некоторых народов. Описывая попытку заполучить проводника-башкира, она замечает: «Notre guide tatare<...> ne répondait à nos questions que par des non!, ce qui mettait tout de suite fin à la conversation»¹⁹ [14, с. 96-97]. Этот эпизод, поданный с

¹⁷ «киргизское гостеприимство нас очаровало; оно было оказано с такой любезностью, несмотря на спокойствие и холодность, неотделимые от мусульманского характера».

¹⁸ «Дело в том, что объект экспериментирования отличается отвратительной нечистоплотностью. Поглядите же, до чего может довести любовь к науке!»

¹⁹ «Наш татарский проводник<...> отвечал на наши вопросы только нет!, что немедленно прекращало разговор».

легкой иронией, на деле закрепляет стереотип о «непроницаемости» и некоммуникабельности местных жителей, их неспособности или нежелании поддерживать диалог с европейцами.

Религиозный фактор - зона особой напряженности. Религиозная жизнь народов Сибири представляет собой ту сферу, в которой амбивалентность авторского взгляда проявляется особенно выпукло. С одной стороны, Уйфальви-Бурдон демонстрирует этнографический интерес к мусульманским и буддийским обрядам, подробно описывая вечернюю молитву старого башкира-мусульманина и буддийские ритуалы в Кульдже. Ее описания, как правило, лишены враждебности и нередко содержат элементы эстетизации, например, когда она сравнивает пение муллы с музыкой, слышанной ею в оренбургской мечети.

С другой стороны, эти же обряды интерпретируются ею сквозь призму рационалистического скепсиса, характерного для просвещенного европейца XIX века. В главе XIX, описывая буддийский храм в Кульдже, она ограничивается перечислением внешних деталей – алтарей, свечей, воскурений, – ни разу не пытаясь вникнуть в смысл наблюдаемых ритуалов. В главе XX молитва старого башкира, совершающего земные поклоны и бормочущего арабские формулы, описана скорее как диковинное зрелище, достойное кисти Рембрандта, нежели как проявление глубокой веры. Эта эстетизация, внешне безобидная, на деле выполняет ту же функцию, что и откровенная критика: она лишает «Другого» субъектности, превращая его религиозный опыт в объект визуального потребления.

Наиболее ярко скрытая напряженность в межконфессиональных отношениях раскрывается в эпизоде, который Уйфальви-Бурдон приводит в главе XX. Рассказывая о беседе с башкирами, она замечает: «Ils avaient appris que les Russes étaient en guerre avec les Turcs et, sachant que M. de Ujfalvy n'était point Russe, ils l'interrogèrent sur les péripéties de cette guerre; quand on leur disait que les Russes étaient victorieux, malgré leur calme ordinaire, on s'apercevait qu'ils n'étaient rien moins que contents»²⁰ [14, с. 457].

Этот пассаж – один из немногих в травелоге, где автор фиксирует больше, чем просто культурную дистанцию, но потенциальную политическую нелояльность. Башкиры, формально являющиеся подданными Российской империи, проявляют эмоциональную солидарность с единоверцами-турками, в то время как их «обычное спокойствие» служит маской, скрывающей подлинные чувства. Уйфальви-Бурдон не комментирует этот эпизод развернуто, но сам факт его включения в текст свидетельствует о том, что она осознавала: имперская лояльность отнюдь не гарантирует религиозной и культурной ассимиляции.

Подобная амбивалентность в репрезентации религиозного «Другого» не явля-

²⁰«Они узнали, что русские воюют с турками, и, зная, что г-н де Уйфальви вовсе не русский, расспрашивали его о перипетиях этой войны; когда им говорили, что русские одерживают победы, - несмотря на их обычное спокойствие, можно было заметить, что они отнюдь не довольны».

ется уникальной чертой травелога Уйфальви-Бурдон. Как показано в недавнем исследовании англоязычных путевых очерков о калмыках, западные наблюдатели рубежа XIX–XX веков регулярно колебались между признанием достоинств «степного гостеприимства» и обвинениями в «суевериях» и «грязи». Специфика случая Уйфальви-Бурдон заключается, однако, в том, что гендерная оптика добавляет еще один уровень напряженности: ее собственный опыт уязвимости не позволяет ей занять позицию полностью отстраненного наблюдателя, но в то же время ее принадлежность к имперской элите требует дистанцирования от «отсталых» практик. Возникающее в результате колебание между эмпатией и осуждением является, как представляется, ключевой характеристикой ее письма.

5. Город как модель межэтнического взаимодействия. На всем протяжении сибирского маршрута город выступает для Уйфальви-Бурдон не просто точкой на карте, но своего рода микрокосмом, в котором межнациональные отношения обретают пространственную и визуальную определенность. В отличие от степных и лесных ландшафтов, где этнические группы предстают изолированными и погруженными в «традиционный» быт, город обнажает иерархический характер их сосуществования и делает зримыми результаты имперской политики. Три города - Семипалатинск, Омск и Петропавловск - описаны автором наиболее подробно, и каждый из них иллюстрирует определенную грань межэтнического взаимодействия.

Прибыв в Семипалатинск 17 октября, Уйфальви-Бурдон сразу же фиксирует его «двойной» характер. Город разделен Иртышом на две части, каждая из которых обладает собственной идентичностью: «Sur le côté droit de l'Irtich<...> s'élève la véritable ville, l'ancienne, celle qui a donné le nom ; c'est une ville kirghise, de vrais Kirghises ! des maisons en bois avec des fenêtres ornées de rideaux<...> À gauche est la ville moderne [russe]»²¹ [14, с. 431].

Показательно, что «настоящим» и «подлинным» автор называет именно киргизский, а не русский Семипалатинск, но эта подлинность немедленно заключается в скобки восклицательным «de vrais Kirghises!» - как если бы сама идея киргизского города требовала эмоционального подтверждения. Русская часть, напротив, характеризуется как «современная», и в этой лаконичной оппозиции («старый / современный») закодировано представление о векторе прогресса: будущее принадлежит имперскому порядку, тогда как киргизская старина - объект этнографического любопытства, но не более того.

Пространственная сегрегация, зафиксированная в Семипалатинске, дополняется социальной: по наблюдению автора, киргизы, живущие в старом городе, начали строить стационарные дома и постепенно переходить к оседлости. Эта трансформация оценивается положительно, но сам факт существования «двух

²¹«На правом берегу Иртыша<...> возвышается настоящий город, старый, тот, что дал имя; это киргизский город, настоящие киргизы! деревянные дома с окнами, украшенными занавесками<...> Слева находится современный [русский] город».

городов» свидетельствует о том, что полной интеграции не происходит: русские и киргизы сосуществуют, оставаясь разделенными даже визуально.

Омск, куда путешественники прибывают 23 октября, описан Уйфальви-Бурдон гораздо более комплиментарно, чем Семипалатинск. Это уже не пограничный форпост, а «столица Западной Сибири», резиденция генерал-губернатора, средоточие имперской администрации: «Omsk, ville de 35 000 âmes, est la capitale de la Sibérie occidentale... Omsk est certainement une gentille petite ville, moins coquette que Tachkend, le climat étant plus rigoureux ; mais, avec ses maisons en bois, sa cathédrale, sa mosquée, elle est certainement très agréable, et son cachet rustique ne manque pas d'un certain piquant»²² [14, с. 442].

В этом описании обращает на себя внимание соседство «собора» и «мечети» как равноценных элементов городского пейзажа. Автор не акцентирует их конфессиональное различие, но включает оба здания в единый архитектурный ансамбль, тем самым конструируя образ имперского города, в котором разные религии и народы мирно сосуществуют под эгидой администрации. «Деревенский шарм» Омска, отмеченный с симпатией, не мешает автору видеть в нем оплот цивилизации на окраине империи.

Вместе с тем, Уйфальви-Бурдон не идеализирует Омск до конца. Она упоминает о «новых улицах, больших и широких», которые, однако, еще не застроены, и о «доме губернатора, огромном каменном здании, которое несколько выбивается из общего ансамбля» [14, с. 442]. Эта деталь выдает некоторую неудовлетворенность автора эстетической незавершенностью имперского проекта: порядок установлен, но гармония еще не достигнута.

Петропавловск, расположенный на реке Ишим, описан более бегло, но и здесь Уйфальви-Бурдон подмечает характерную деталь, маркирующую встречу разных миров: «Une mosquée au minaret fin et élégant orné de deux balcons s'élance dans les airs. On voit à l'entrée de la ville des yourtes kirghises qui contrastent avec les jolies maisons de cette ville sibérienne»²³ [14, с. 448]. «Контраст» между юртами и «хорошенькими домами» – это визуальная метафора всей сибирской политики: кочевое и оседлое, традиционное и модерное, азиатское и европейское встречаются в одной точке, но остаются разделенными, и именно это разделение, по мысли автора, и создает условия для постепенного «цивилизования» первых вторыми.

Особое место в нарративе занимает Кульджа, которую Уйфальви-Бурдон посещает ранее, по пути в Сибирь. Этот город, временно занятый русскими вой-

²²«Омск, город в 35 000 душ, является столицей Западной Сибири... Омск, безусловно, милый маленький город, менее кокетливый, чем Ташкент, поскольку климат более суров; но с его деревянными домами, собором, мечетью он, безусловно, очень приятен, и его деревенский шарм не лишен некоторой пикантности».

²³ «Мечеть с тонким и элегантным минаретом, украшенным двумя балконами, устремляется ввысь. У въезда в город видны киргизские юрты, контрастирующие с хорошенькими домами этого сибирского города».

сками после кровопролитного дунганского восстания, описан в совершенно иной тональности – не как модель порядка, а как пространство хаоса и разрухи: «Kouldja me parut assez sale; des rues sans trottoirs bordées d'ariques anciennement creusées, des tas de terre jetés çà et là, des rues étroites et non pavées, à chaque pas des épluchures de melons, des enfants nus, sales, des Kalmouks, des Mandchoux, des Chinois, des Tarantchis, des Dounganes, des Sartes»²⁴ [14, с. 408].

В этом пассаже этническая чересполосица Кульджи подана не как свидетельство имперского космополитизма, а как признак послевоенного хаоса. Перечисление этнонимов через запятую, без каких-либо пояснений, создает эффект нагромождения, визуального и социального беспорядка, который резко контрастирует с упорядоченным сосуществованием народов в Семипалатинске или Омске. Кульджа, еще не до конца интегрированная в имперское пространство, служит своего рода фоном, на котором сибирские города выглядят как образцы успешной колонизации.

Таким образом, город в травелоге Уйфальви-Бурдон выступает как многозначный символ. Он одновременно является витриной имперского порядка (Омск), пространством сегрегированного сосуществования (Семипалатинск), пограничной зоной контраста (Петропавловск) и, наконец, предостережением о том, во что превращается территория, где имперский контроль ослаблен (Кульджа). Во всех этих случаях автор последовательно воспроизводит иерархическую модель межэтнических отношений, в которой русские выступают как управляющая сила, а «азиаты» – как управляемые или, в лучшем случае, как «ученики», постепенно приобщаемые к благам цивилизации. Именно эта модель, как будет показано в Заключение, и составляет концептуальный каркас всего сибирского нарратива.

Заключение

Проведенный имагологический анализ сибирской части травелога Марии де Уйфальви-Бурдон «De Paris à Samarkand...» (1880) позволяет утверждать, что рецепция межнациональных отношений в этом тексте представляет собой сложный синтез имперского цивилизаторского дискурса, этнографической наблюдательности (обусловленной участием автора в научной экспедиции мужа) и гендерно-маркированной оптики. При внешней фрагментарности и кажущейся «легковесности» путевых заметок, адресованных массовой аудитории, книга содержит целостную и последовательно выстроенную систему оценок, в которой народы Сибири ранжированы в зависимости от степени их приближенности к европейским нормам чистоты, трудолюбия и социальной организации.

На вершине этой негласной иерархии располагаются башкиры, чья внешняя

²⁴ «Кульджа показалась мне довольно грязной; улицы без тротуаров, окаймленные давно прорытыми арыками, кучи земли, разбросанные там и сям, улицы узкие и немощеные, на каждом шагу арбузные корки, голые, грязные дети, калмыки, маньчжуры, китайцы, таранчи, дунгане, сарты».

привлекательность, опрятность и предполагаемое историческое родство с мадьярами обеспечили им наиболее благожелательный прием со стороны автора. Среднюю ступень занимают русские колонисты и казаки, чья роль как проводников цивилизации последовательно подчеркивается, хотя и не лишена критических оговорок (хищническое истребление лесов, эстетическая нечувствительность). Ниже помещены киргизы (казахи), чей кочевой уклад трактуется как следствие лени и пассивности, а сами они – как объект, нуждающийся в дисциплинирующем воздействии извне. Наконец, малочисленные народы Севера (остяки, самоеды) полностью лишены субъектности и низведены до уровня этнографических диковинок. Эта иерархия, выстроенная по критериям, характерным для колониального дискурса XIX века в целом, подтверждает наблюдения, сделанные ранее на материале англоязычных травелогов о Центральной Азии, и одновременно демонстрирует специфику французского взгляда, менее отягощенного миссионерским пафосом, но впитавшего в себя расиологические схемы, циркулировавшие во французской антропологии 1870-х годов.

Гендерная принадлежность Уйфальви-Бурдон накладывает на эту иерархию дополнительный оттенок. Ее доступ в закрытые женские пространства (гаремы, кибитки) и внимание к положению мусульманских женщин порождают в тексте амбивалентность, несвойственную травелогам ее современников-мужчин: сочувствие к «затворницам» уживается с цивилизаторским высокомерием, а восхищение «природной грацией» башкирки – с безразличным описанием гигиенических привычек кочевников. Эта амбивалентность, как было показано, не подрывает колониальной рамки, но модифицирует ее, придавая нарративу отчетливо личностное, эмоциональное измерение.

Особого внимания заслуживает вывод о том, что имперская лояльность, декларируемая в тексте, не отменяет скрытого религиозного сопротивления. Зафиксированная Уйфальви-Бурдон реакция башкир-мусульман на успехи русского оружия в войне с Турцией обнаруживает предел, до которого простирается ассимиляция: даже самые «цивилизованные» (по авторской шкале) народы сохраняют конфессиональную солидарность, идущую вразрез с политической лояльностью.

Города Сибири – Семипалатинск, Омск, Петропавловск – выступают в нарративе пространственными моделями имперского порядка, в котором русское и азиатское сосуществуют, но остаются разделенными. Кульджа, описанная в главе XIX, служит контрастным фоном: ее этническая чересполосица подана как признак не преодоленного хаоса, тогда как упорядоченное сосуществование в сибирских городах – как свидетельство успеха «цивилизаторской миссии».

Предпринятое исследование, разумеется, не исчерпывает темы. За его рамками остались важные аспекты, заслуживающие самостоятельного анализа: во-первых, сопоставление сибирской части травелога Уйфальви-Бурдон с ее же описаниями Средней Азии и с научными отчетами Ш.-Э. де Уйфальви; во-вторых, детальный анализ визуального ряда книги (гравюры, восходящие к фотографиям Туркестанского альбома и других источников), который, как показала С. Горшенина [6], играл ключевую роль в циркуляции стереотипов о «русском Востоке»; в-третьих, компаративное исследование, включающее другие женские травелоги по Сибири

этого же периода в сопоставлении с мужскими нарративами. Тем не менее, уже полученные результаты позволяют утверждать, что книга Марии де Уйфальви-Бурдон является ценным и пока недостаточно освоенным источником по имагологии российского Востока, иллюстрирующим механизмы конструирования «своего» и «чужого» в сознании западной наблюдательницы эпохи заката империй. Ее текст не просто воспроизводит колониальные клише, но и обнажает – часто помимо воли автора – те трещины и напряжения, которые скрывались за фасадом имперского порядка. Проведенный имагологический анализ сибирской части травелога Марии де Уйфальви-Бурдон «*De Paris à Samarkand...*» позволяет утверждать, что рецепция межнациональных отношений в этом тексте представляет собой сложный синтез имперского цивилизаторского дискурса, этнографической наблюдательности (обусловленной участием автора в научной экспедиции мужа) и гендерно-маркированной оптики. При внешней фрагментарности и кажущейся «легковесности» путевых заметок, адресованных массовой аудитории, книга содержит целостную и последовательно выстроенную систему оценок, в которой народы Сибири ранжированы в зависимости от степени их приближенности к европейским нормам чистоты, трудолюбия и социальной организации.

Благодарности

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 25-28-20397 «Межнациональные отношения в Сибири в рецепции европейских путешественников конца XIX – начала XX вв. <https://rscf.ru/project/25-28-20397/>.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Sudres S. Entre scientifique et pittoresque : l'intervention du genre dans l'écriture hybride de Marie de Ujfalvy-Bourdon // *Voix plurielles*. – 2021. – Vol. 18, № 2. – P. 279–292. – DOI: 10.26522/VP.V18I2.3541
2. Brookes N. C. France's Print Culture Representations of Russia, 1856-1894: PhD thesis. – Pennsylvania State University, 2004. – 251 p.
3. Sudres S. Du bazar au palais du raja : bijoux et costumes d'Orient chez Harriet Murray-Aynsley et Marie de Ujfalvy-Bourdon // *Voix plurielles*. – 2024. – Vol. 21, № 2. – P. 183–204. – DOI : <https://doi.org/10.26522/vp.v21i2.4902>
4. Gorshenina S., Rapin C. Les voyageurs francophones en Asie Centrale de 1860 à 1932 // *Cahiers du monde russe*. – 1998. – Vol. 39, № 3. – P. 361–373.
5. Gorshenina S. Samarkand and its cultural heritage: Perceptions and persistence of the Russian colonial construction of monuments // *Central Asian Survey*. – 2014. – Vol. 33, № 2. – P. 246–269.
6. Горшенина С. Фотография и царская колониальная администрация Туркестана: конструируя историю и место между прошлым и будущим // *Вестник МИЦАИ*. – 2021. – Вып. 31. – С. 45–87. – DOI: 10.34920/1694-5794-2021.45-87
7. Beller M., Leerssen J. Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. – Amsterdam ; New York : Rodopi, 2007. – 476 p.
8. Leerssen J. Imagology: On Using Ethnicity to Make Sense of the World // *Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters* / ed. by M. Beller, J. Leerssen. – Amsterdam ; New York : Rodopi, 2007. – P. 13–31.
9. Pageaux D.-H. De l'imagerie culturelle à l'imaginaire // *Précis de littérature comparée* / dir. P. Brunel, Y. Chevrel. – Paris : Presses Universitaires de France, 1989. – P. 133–161.

10. Said E. W. *Orientalism*. – New York : Pantheon Books, 1978. – 368 p.
11. Lowe L. *Critical Terrains: French and British Orientalisms*. – Ithaca ; London : Cornell University Press, 1991. – 216 p.
12. Mills S. *Discourses of Difference: An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism*. – London ; New York : Routledge, 1991. – 232 p.
13. Monicat B. *Itinéraires de l'écriture au féminin : voyageuses du 19e siècle*. – Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1996. – 202 p.
14. Ujfalvy-Bourdon M. de. *De Paris à Samarkand : le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie occidentale. Impressions de voyage d'une Parisienne*. – Paris : Hachette, 1880. – 487 p.
15. Pratt M. L. *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*. – London ; New York : Routledge, 1992. – 257 p.
16. Алексеев П.В. Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX в.: от А.С. Пушкина к Ф.М. Достоевскому. – Томск : Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2015. – 348 с.
17. Schimmelpenninck van der Oye D. *Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration*. – New Haven ; London : Yale University Press, 2010. – 298 p.
18. Tolz V. *Russia's Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods*. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 203 p.
19. Alekseev P. V. Notes on Russian Orientalism as a Phenomenon of Cultural Transfers // *Tomsk State University Journal of Philology*. – 2020. – №. 67. – Pp. 189–203. – DOI: 10.17223/19986645/67/10
20. Bhabha H. K. *The Location of Culture*. – London ; New York : Routledge, 1994. – 285 p.
21. Blunt A. *Travel, Gender, and Imperialism: Mary Kingsley and West Africa*. – New York ; London : Guilford Press, 1994. – 190 p.
22. Ghose I. *Women Travellers in Colonial India: The Power of the Female Gaze*. – Delhi : Oxford University Press, 1998. – 208 p.
23. Irvine M. *Pour suivre un époux : les récits de voyages des couples au XIXe siècle*. – Québec : Nota Bene, 2008. – 277 p.
24. Жданов С. С. Репрезентация этнических образов сибирского пространства в травелоге М. Ф. Прайса // *Журнал фронтальных исследований*. – 2026. – Т. 11, № 2(42). – С. 291–322. – DOI: 10.46539/jfs.v11i2.723
25. Жданов С. С. Рецепция межнациональных отношений в Сибири в травелоге «Из Пекина в Петербург» А. Рида // *Интерэкспо ГЕО-Сибирь: XXI Международный научный конгресс, 21–22 мая 2025 г., Новосибирск: сборник материалов в 8 т. Т. 5: Международная конференция «Электронное геопространство: философско-гуманитарное и социально-правовое измерение»*. – 2025. – Т. 5. – С. 30–41. – DOI: 10.33764/2618-981X-2025-5-30-41
26. Alekseev P.V., Alekseeva A. A., Boone P. Remembering India: Southern Altai in Harold Swayne's Travelogue // *Mir Nauki, Kultury, Obrazovaniya*. – 2020. – №. 3(82). – P. 558–559. – DOI: 10.24411/1991-5497-2020-00654
27. Alekseev, P. V., Alekseeva A. A., Braeckman F. 'Tartars' and 'Kalmuks' in Prince San Donato's Siberian Travelogue // *Mir Nauki, Kultury, Obrazovaniya*. – 2020. – №. 3(82). – P. 555–557. – DOI: 10.24411/1991-5497-2020-00653
28. Алексеев П. В. Горный Алтай как «внутренний Восток России» в английских травелогах второй половины XIX – начала XX вв. // *Журнал фронтальных исследований*. – 2024. – Т. 9, № 4 (36). – С. 15–36. – DOI: 10.46539/jfs.v9i4.558
29. Алексеев П. В. The image of the Kazakh steppe in Annette Meakin's "A Ribbon of Iron" (1901) // *Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки»*. – 2025. – № 3 (93). С. 56–65.

© С. П. Алексеева, П. В. Алексеев, С. С. Жданов 2026